

Шмелев И. В.



История села Мотовилово

Тетрадь 5
(1924-1925 г.г.)

12+

Иван Шмелев

**История села
Мотовилово. Тетрадь 5**

«ЛитРес: Самиздат»

1976

Шмелев И. В.

История села Мотовилово. Тетрадь 5 / И. В. Шмелев — «ЛитРес: Самиздат», 1976

Более 50 лет Шмелев Иван Васильевич писал роман о истории родного села. Иван Васильевич начинает свое повествование с 20-х годов двадцатого века и подробнейшим образом описывает достопримечательности родного села, деревенский крестьянский быт, соседей и родственников, события и природу родного края. Роман поражает простотой изложения, безграничной любовью к своей родине и врождённым чувством достоинства русского крестьянина.

Содержание

Детство. Первая борозда	6
Жители села. Устинья Демьянова (Васька)	11
Жители села. Раздел семьи Федотовых	16
Конец ознакомительного фрагмента.	26

Тетрадь № 5
1924–1925 г.г.

Детство. Первая борозда

Отшумели талые внешние воды, весна полностью вошла в свои права, кругом все зазеленело. Ванька Савельев впопыхах вбежал в избу и, задыхаясь от волнения, доложил матери:

– Эх, мы сейчас на берегу Воробейки с Санькой да Панькой и свинороем наелись! Эх, и сладкий!

– А вы бы шли на вторусское поле за пестушками или в лес за берёзовкой, – предложила мать

– А мы уж берёзовки-то напились, в пробеле у нас, у берёзы, в корне сделали колодчик топором и напились. Эх, сладка!

– Ну, тогда вот что: отец с утра в поле пахать не завтракавши уехал, так ты ему обед снеси.

– Это я одним дыхом сбегаю, давай чего нести-то.

– Ты только не больно прытко, а то всю обедку растеряешь, – стараясь укротить пыл Ваньки, сказала ему мать. – На вот кошель, надень его на спину и ступай.

– А как мне найти-то папу-то? – спросил Ванька.

– Он сказал, что будет пахать недалеко от Рыбакова, – пояснила мать.

Ванька, вскинув кошель на спину, вышел из дома, зашагал вдоль улицы, поднимая придорожную пыль босыми ногами. Мать, постояв у палисадника и взглядом проводив сына, ушла в избу, а Ванька тем временем, завернув за угол, зашагал по улице Слободе.

При выходе из села, минуя Ошаровку, Ванька сразу же стал вглядываться вдаль, взором ища отца. Среди множества пашущих лошадей он тут же нашёл глазами своего Серого.

Отец пахал на самой пуповине горы. Загон его концом упирался в рубеж, граничащий мотовиловскую землю от волчихинской. Дойдя до овражка Рыбаков, поросшего вязами, кленами и орешником, Ванька поспешил в тень. Его уморило горячее солнышко, да, кстати, ему захотелось опорожниться.

Сняв с плечи кошель, он положил его под куст орешника, а сам преспокойненько уселся под вязом. Встав с места и застегивая портки, вдруг перед Ванькой из-под кустика выпорхнула какая-то красивая пичужка. Тювикнув, она шмыгнула в мелкую поросль ивняка.

Ванька птичкой заинтересовался и решил во что бы то ни стало ее поймать. Его намерению способствовало то, что он, глазами отыскав в поле отца, не спешил к нему, думая, что отец пашет совсем рядом, отсюда рукой подать, вот поймаю пичужку и к отцу. Пробегал Ванька за птичкой с полчаса и все безрезультатно, только бы схватить ее руками, а она шмырк, и снова отлетев немножко, прячется в кусты. Она, очевидно, отвлекала его от гнезда, где насиживала яички.

Ванька до того умирался и устал, бегавши, что решил бросить эту бесполезную затею, отступить от неподдающейся птички. Он направился к кусту, под которым он спрятал кошель. Гоняясь за птичкой, он далеконько удалился от кошеля и не заметил, как злополучная ворона подкралась и распотрошила кошель. В кошеле остался обклёванный хлеб, пирог с выклеванной начинкой, молоко в двух бутылках, а мяса – фиг! Всплакнув с досады, Ванька, понутив голову, побрел бездорожно, напрямик по пашне, ориентируясь на Серого. От отца Ванька получил взбучку за поздний приход, а потом дополучил «довесок» за то, что кошель оказался потрошённый вороной, о чем Ванька признался отцу добродушно и честно.

Всхлипывая от обиды, Ванька залез на телегу, распластавшись на разостланном чапане, он взор устремил ввысь, где в самом поднебесье, трепыхая крылышками, колокольчиком звенел жаворонок. Отец, наспех поев, снова принялся за пашню, а Ванька, увлечшись поющими жаворонками и кучевыми, белыми, как ватка, облаками, долго и самозабвенно глядел вверх.

Его так же интересовала безбрежная, таинственная и нежная синь неба. Для него все было загадочно в этом бездонном голубом пространстве, он заинтересованно мечтал, увлѣкшись, забыл про обиду.

Очередно подъехав к телеге, отец крикнул:

– Ваня! Давай я тебя посажу верхом на лошадь, будешь кататься. Только крепче держись за холку, чтоб не упасть.

Уселся Ванька верхом на лошадь и ездил так взад–вперед по загону. Героем чувствует себя он, как–никак «кавалерист», да и только. Но вскоре надоело Ваньке это занятие, да к тому же острая лошадиная холка так растѣрла ему между ног, что он попросился слезть с лошади.

– Тогда давай попробуем вместе пахать, – предложил отец Ваньке, снимая его с лошади.

– Давай! – согласился Ванька. Он взялся обеими руками за один поручень плуга, другой, не выпуская из руки, поддерживал отец. Так они проехали один круг. Ваньке понравилось. Он стал упрашивать отца, чтоб он разрешил ему пахать одному, самостоятельно. Согласившись, отец передал Ваньке и второй поручень плуга и, сопровождая, стал наблюдать за работой новоявленного пахаря. Ванька, всей силой вцепившись в поручни плуга, старательно напрягаясь всем телом, упруго упираясь в землю, старался, чтоб плуг шел ровно и не выскакивал из борозды. Но какая-то неведомая сила то и дело выпихивала лемех из земли, и плуг, выскочив, бороздил землю вхолостую. Отец, поучая, сказал:

– Когда плуг будет выскальзывать из земли, ты поднимай ручки вверх, и плуг снова пойдёт в землю. Когда же плуг будет мало захватывать, это в случаях, когда лошадь сойдѣт в борозду, тогда на лошадь кричи: «Вылезь!», а когда захват будет слишком широк, кричи: «Ближе!». Вот так и научишься. Только смелее и на лошадь покрикивай, она будет тебя слушаться и принимать за хозяина, хотя ты еще и маленький, тебе девятый годик, но крепость в руках накапливается с детства.

Не успеет отец оторвать свои руки от поручня плуга, как плуг снова выскакивает из земли. Но Ванька, с силой упираясь ногами, напряжѣнно поднимает руками поручни вверх, и плуг снова погружается в пласт. Ванька крутит головой, стряхивая пот, навязчиво текший со лба, застилающий глаза, мешающий зрению, сердится. Но отец успокаивающе говорит ему:

– Эх, Вань, не сердись, сначала-то все так, а потом научишься. Я в детстве тоже не умел пахать, а вот также отец меня учил. И ты не горюй, научишься!

Проехав в сопровождении отца три гона, Ванька попросил:

– Ну, пап, теперь поеду я один, справлюсь сам!

– Попробуй, – согласился отец.

Оставшись на конце загона около телеги, отец долго наблюдал за Ванькой, сочувственно с тревогой морщился, когда видел, что плуг у Ваньки, выскальзывая из земли, бороздил впустую, но Ванька, напрягшись всем телом, водворял плуг снова в пласт, и отец успокаивался.

А Ванька, поехав в дальний конец загона один, был преисполнен радости и гордости. Его охватило неудержимое веселье. Он самостоятельно, без помощи отца, проделывает первую борозду в кормилице Земле, которая, возможно, будет священной первооткрывающей бороздой в жизни Ваньки. И кто знает, сколько ему суждено проделать в земле этих живодарственных борозд, взрыхляющих матушку землю, которая примет зерно для следующего произрастания, чтоб превратиться в хлеб.

Теплый весенний ветерок, играючи, перебирал кудрявые волосы на Ванькиной голове. Завитушки волос от дуновения ветра то взъерошивались, то снова волнами ложились на свое место. Стая грачей и скворцов сопровождали Ваньку так же, как и за отцом, хлопотливо отыскивая червяков, шли по Ванькиной первой борозде.

Заинтересовавшись грачами, Ванька даже остановил лошадь, и с любопытством стал наблюдать то, как один грач, найдя в борозде большого червя, не стал его заглатывать сразу, а, держа его у себя в клюве, наступив на него ногой, стал продёргивать его, очищая от прилипшей земли.

Над Ванькиной головой весело звенели жаворонки, как бы радуясь вместе с ним первой борозде. Немножко отдохнув и с интересом налюбовавшись грачами и хлопотливыми скворцами, Ванька снова тронул лошадь. Он стал наблюдать, как перед его глазами подпрыгивая лемехом, пластом дыбилась земля. Пласт земли переворачивался отвалом и клался наизнанку, кверху чернотой, которая, влажно ложась, блестела, и тут же увядая, подсыхала, угретая горячими лучами солнца, источая еле заметную испарину, пахнувшую прелью и перегноем. Перевернутые наизнанку платы блекли, лоск черноты пропадал, земля приобретала сероватую окраску.

Когда Ванька подъезжал к телеге, то заметил, что отец зорко наблюдает за ним. Ванька по-хозяйски повелительно крикнул на лошадь: «Нoo! Поворачивайся!» Но Серый и без того шел ровным упористым шагом, ровно и без особой натуги тащил за собой плуг.

– Ну, как дела-то? – с довольной улыбкой на лице спросил Ваньку отец.

– Ничего, – горделиво улыбаясь, ответил Ванька, – только на поворотах у меня что-то криво получается, – с озабоченностью в голосе ответил Ванька.

Но не только на поворотах, и сами борозды получились кривыми, Ванька вспахал плохо, навилял какими-то волнистыми вавилонами.

– Ну, ничего! – ободряюще похвалил его отец, – первый блин всегда комом, в следующий раз совсем дело пойдёт, научишься. За это я тебя в город на ярмарку возьму, а теперь давай-ка я попашу, кривизну твоих борозд исправлю, а ты поди-ка устал.

Домой Ванька побежал напрямик по полю, обрадовано он бежал вприпрыжку, не чуя под собой ног. Его подмывало желание скорее добежать до села, похвалиться матери, братьям и товарищам, что он, Ванька Савельев, в нынешний день научился самостоятельно управлять лошадью и землю пахать!

Прибежал Ванька домой впопыхах изрядно проголодавшийся, вбежал в чулан, с жадностью отковырнул кусок пшенной, с пенкой, каши и выбежал на улицу к товарищам, но не успел он созвать их, как у него сильно затошнило. Он торопко подбёг к поленнице дров. В пробеле наклонился сблевать, его вырвало, видимо, с кашей он съел невидимую под пенкой муху. После этого Ванька, отыскав своих товарищей, не стерпел, чтоб перед ними не похвалиться: «Я сегодня в поле был и пахать научился, а за это меня папа в город возьмёт!» – прыгая на одной ноге от радости, возвестил Ванька своим друзьям Паньке и Саньке.

– А я зато вот ружье с лучком смастерил, стрелами из него хорошо стрелять. Вот, гляди, – и Панька стрельнул вверх. Стрела, взлетев высоко вверх, пропала из виду, а через несколько секунд упала почти у самых Панькиных ног.

– Айда к церкви, там галок и воробьёв уйма!

Ребята стремглав поскакали к церкви. На величественных околоцерковных вязах громко орали грачи, бойко чекали галки. Стреляя в грачей и галок, Панька израсходовал весь запас стрел. Они, втыкаясь в сучья, оттуда уже не падали. Ребятам больше не оставалось, как кидать в птиц камнями. Вспокоенные гомоном ребят и встревоженные камнями, грачи и галки куда-то улетели. Панька нашёл новую забаву: состязаться, кто докинёт камнем до колоколов на колокольне.

Выбрав увесистый и удобный для бросания камень, Панька, размахнувшись, ловко взметнул его вверх. Камень долетел до широченного окна, коснулся колокола. Колокол издал едва

услышанный серебряный гуд. Последовав Панькиному примеру, Ванька тоже вскинул вверх камешек-голыш, но он, не долетев до цели, стал падать обратно, и угодил случайно подвернувшемуся тут Мишутке Миронову в голову. Проломил голову до крови. Мишутка заойкал, закорчился от боли, а опамятавшись, стал угрожать:

– Вот я скажу братке, он тебе вложет!

– А на твою братку у меня тоже братка найдётся! – не поробев, отговорился Ванька.

Из проломленной головы у Мишутки потекла кровь, волосы слиплись. На крик прибежала чья-то баба. Она торопливо подхватила за руку Мишутку и поволокла куда-то, испуганно приговаривая:

– Скорее, надо рану нюхательным табаком присыпать или паутинным тенятом заклеить, а то кровью изойдёшь!

Перепуганные ребятишки вспорыхнулись и убежали домой, боясь, как бы не догнали и не всыпали за провинность.

Запасшись стрелами, ватага ребят направилась на охоту в «Сосновое болото». Там птиц уйма, и никто не помешает стрелять и кидать камни по воробьям. Постреляв в кустах по воробьям и измочившись по пупок в холодной болотной воде, не удовлетворившись этим, ребята ринулись в лес.

В лесу Панькин зоркий глаз заметил почти на самой вершине сосны затаенное от людских глаз ястребиное гнездо. Он решил до него добраться и полез. Ловко ухватываясь за сучки, цепко, по-кошачьи, карабкаясь, Панька поднимался по сосне все выше и выше. Наконец он вскарабкался до гнезда, там оказалось два яйца. Чтоб не раздавить их в карманах, он поместил их в рот и стал спускаться. Или из-за усталости Панька, не достигнув земли сажени с две, решил спрыгнуть. Соскочив на землю, он не устоял на ногах. Раскорячившись, повалился на землю и судорожно завокал. Давясь, Панька торопко стал вываливать изо рта тягучую слизистую жидкость. У него изо рта выскользнули два черных шматка. Оказалось, при падении Панька зубами раздавил во рту яйца, а они оказались насиженными. От души насмеявшись над Панькиной оплошностью, Санька, Ванька и Васька долго подтрунивали над ним. Но Паньке насмешка не нравилась. Он сердился, ругался, а то и давал подзатыльника. Он из ребят был всех статнее и всех сильнее, с ним шутки плохи.

Панька в бросании камнем или в стрельбе из ружья стрелой очень меткий, но Васька Демьянов, двоюродный брат его, с ним поспорил, что Панька не попадёт в него, Ваську, если он будет стрелять в него с расстояния двадцати шагов.

– Да становись, Бадья, – самоуверенно выругался Панька. Самолично отмерив шаги от Паньки, Васька доверчиво встал мишенью. Санька и Ванька, стоя в стороне, наблюдали за поединком, как наблюдатели, как секунданты при дуэли. Панька, натянув тетиву, вложил в ружье стрелу, стал целиться в живую мишень, а конкретно прямо в Васькино лицо. Ружье тетивой брымкнуло, стрела полетела и попала Ваське в лицо, в мякоть правой щеки, и воткнулась своим острием. Васька, наклонившись, судорожно затряс руками от боли, затопал ногами. Перепугавшийся Панька торопливо подбежал и выхватил стрелу из Васькиной щеки. Васька завыл. Из раны на землю хлынула алая кровь, а Панька, не зная, что предпринять, стал, грозно ругаясь на Ваську, уговаривать его с укоризной:

– Ну, так не спорил бы и не вставал бы вместо мишени-то!

– Я думал, стрела не долетит! – всхлипывая и зажимая ладонью рану, выл Васька.

К ране приложили листок подорожника, течь перестала. Рану затянуло, можно и к речке Серёже бежать купаться. И все четверо бросились туда.

Разногишившись, неугомонная орда принялась, резвясь, бегать по песчаной отмели реки туда-сюда. Водяные брызги от их ног разлетались во все стороны. От крика и гомона, огласив-

ших приближенную окрестность реки, разлетелись в разные стороны всполошенные птицы, зверьки попрятались в свои норы.

Выкупавшись, ребята блаженно развалились на горячем прибрежном песке, и тут, на песке, Санька обнаружил какой-то каменный слиток. Панька, поспешно выхватив его у Саньки, сказал:

– Это же «чертов палец», он очень полезительный для лечения ран. Васьк, давай я тебе этим пальцем рану натру.

Васька доверчиво согласился. Панька, помусолив языком каменный палец, слегка потёр им Васькину щеку:

– Ну, вот и все, болеть не будет, до свадьбы-то заживёт! – наговорчески заключил Панька. – Этот «чертов палец» знаете откуда берется? – как заправский знахарь, спросил товарищей Панька.

– Откуда? – поинтересовался Ванька.

– Это «громовая стрела», во время дождя и грома она в землю втыкается, а эта, видно, в землю глубоко не ушла, в песок угодила, на поверхности осталась! – самодовольно пояснил Панька.

– А откуда это все ты знаешь? – переспросил его Санька.

– От нашего дяденьки, он от фельдшера Исаича слышал, что этим «чертовым пальцем» «антонов огонь» вылечивают.

– Ну, братва, пора и по домам! – громко скомандовал Панька. Еще раз окунувшись в воде, ребята, надев на себя портки и рубахи, с гиканьем вперегонки побежали в село.

Жители села. Устинья Демьянова (Васька)

Однако вернемся несколько назад. Тогда, когда бабы возвращались со станции с приобретённой ими в Нижнем солью, они весело переговаривались между собой. Всех больше балагурила тогда Устинья Демьянова. Подмывало ее какое-то скрытое веселье. Она больше всех смеялась и больше всех разговаривала. Но разговору у нее хватило как раз только до того, как она, поравнявшись с часовней у перегона. Завидела свою избёнку. так и ахнула. На нее уныло смотрела обоими приземистыми окошками ее скособоченная избушка, которую она сразу-то и не узнала.

Пока она ездила за солью, с ее невзрачной халупой произошла следующая история. В отсутствие хозяйки подвыпившие парни–женихи ради озорства и любопытства, подзадоренные поиском золота, взяли в руки слегу, да и приподняли передний красный угол. Пошевырялись в чашках, а золотых все же не нашли.

Угол потом опустили на место, но он плотно не осел (какой дурак будет поправлять свое злонамеренное дело), и избушка приняла после этого кособокий вид. Поэтому-то Устинья и ужаснулась, подходя к своей избёнке. У нее от неожиданности даже зарябило в глазах. Присев на завалинку, с горя и от обиды она не заплакала, а зарыдала.

Перед тем, как внести мешок с солью в сени, Устинью привлекло безмятежное гоготание кур, которые, залетев на соломенную крышу избёнки, самодовольно швырялись в свежей соломе, ища прошлогодние зерна ржи. Она, злобно выругавшись, принялась ссугивать кур с крыши:

– Шишь, вы, дьяволы! Хоть бы вы на грех меня не навадили, без вас тошно! Избёнка вся исковеркана!

Устиньяина избушка была до того невзрачна и мала, что в селе поговаривали, что ее муж Миша в свою бытность при своем саженом росте из-за недостатка простора спал, протянувшись из угла в угол. Построена эта избёнка дедом Миши лет пятьдесят тому назад. В ней сам дед жил, потом сыну своему оставил, а после и внуку Мише пришлось в ней пожить.

Давненько по селу ползает слухок, что этот самый дед при постройке этой избёнки под красный угол положил десяти рублевый золотой. Вот этот-то золотой и соблазнил озорников парней. Приподняли они угол, а на место не поставили. Образовалась по всей стене щель, в которую будет дуть ветер и забираться мороз в зимнюю стужу.

– Ну, попадись мне в руки, кто приподнял избу! Зачитаю! Засужу! – самоуспокаивающе крикнула Устинья в безлюдную улицу. Одно было утешенье у Устиньи Демьяновой: знакомый ей председатель ВИКа Небоська через посредство ее брательника, сторожа совета Якова, выбрал ее от села Мотовилова делегаткой в окружной отдел по женским вопросам.

Вот и на этот раз получила Устинья извещение прибыть в Арзамас, а за чем, она толком и не знает. С умыслом мщения обидчикам, она решила без вызова посетить это учреждение и пожаловаться там на своих досадчиков. Но идти или ехать только ради этого – неизбежно понесёшь денежную трату, и она решила обратиться с просьбой к тому, кто вскорости поедет в город. На ее счастье брат ее, Яков, сельсоветский староста, сказал ей, что на завтра вызывают в Арзамас секретаря совета Озоблина Кузьму. Устинья к нему:

– Ты, слышь, Кузьма Дорофеич, с город собираешься? Ты на базар, али так что поедешь?

– Да, и на базар, и по делу. А что?

– Чай, зайди там в Ж.О.П.У., узнай, пожалуйста, за чем меня туда вызывают. Извещение я получила на седьмое июня, а зачем не знаю.

– Ты что, на смех надо мной иль взаправду? Ты соображаешь, куда меня посылаешь, а? – в некотором недоумении, но с улыбкой спросил ее Кузьма.

– Как куда? – встревожено переспросила Устинья, – я тебя прошу в городе зайти в женское окружное политуправление, – растолковывала она ему, – или попросту в женотдел. Я там делегаткой числюсь. А ты как понял?

– А я подумал, ты меня совсем в другое место посылаешь. Мне подумалось, что ты на меня по злости из-за того, что с моей сеструхой вы часто в ругани схватываетесь.

– Нет, я совсем по другому делу! Тут моя шабрёнка ни при чем, – заключила Устинья. – А о чем прошу, не забудь, забеги, пожалуйста.

– Ладно, ладно, – пообещал Оглоблин.

Устинья Демьянова по натуре своей имела большое пристрастие к ругани. Она частенько с кем-нибудь ругалась, а с соседкой через прогон, с Гуляевой Анной, она схватывалась из-за всякой пустяковины. Или потому, что ей одной скучновато жилось, или же из-за того, что от природы имела желание и обладала искусством в ругани. Иимела в этом занятии успех и бабье наслаждение. Про себя она говорила так:

– Век вековать, не все горевать! Не грех и поругаться.

Люди же за ее сварливый характер звали ее ведьмой. За неделю Устинья с Анной успели схватиться два раза. Первый раз шабрёнка Анна в пробеле на шестах развесила свое добро, чтоб его на солнышке пожарить. Устинье тоже вздумалось в этот день пожарить свое залежавшееся в сундуке барахло, а место занято. Открылся спор. Неудержимая ругань до потрошения сродников как живых, так и давно умерших. И пошло-поехало. Случайно проходил мимо их Семион Селиванов, решил урезонить их разгоревшийся пыл:

– Да перестаньте ругаться-то, чтоб вас вдоль-то разорвало!

Бабы, застеснявшись старика, немножко было приутихли, а как только Семион скрылся за поворотом проулка, перебранка между ними снова разгорелась и кончилась тем, что они друг дружке показали свои голые зады.

Не прошло трех дней, а соседки снова схватились. В этот раз из-за Анниного петуха. Соседка Устиньи, Анна Гуляева, кур не имела, а держала одного петуха, который из-за скуки частенько навевывался в Устиньин двор к ее курам. Топтал их, из-за чего Устинья частенько и вызывала Анну на враждебный словесный бой.

– Ты уйми свою петуха-супостата! – во всю улицу кричала Устинья, а то я ему башку отшибу! – грозила она.

– А за что я его унимать-то буду? – спокойно, без возмущения возражала Анна.

– А за то, что он, как жандарм, ко мне на двор повадился и всех моих кур перетоптал, окаянный! – буйствовала Устинья.

– Ну что за беда, что за важность, пусть топчет. Для тебя же лучше, куры больше яиц нанесут, – с подковыркой подзадоривая шабрёнку, отшучивалась Анна.

– Как пусть топчет? Чай, у меня свой кочет есть и не хуже твоего замухрыстика, – кипятилась Устинья.

– Стало быть хуже! Раз мой в твой двор заходит, чай, и моему-то надо. Если он не будет кур топтать, он скоро сдохнет, – шутила Анна.

– Нет! Не разрешу! Не позволю! – ярошилась, выходя из терпения, Устинья, – держи для свою кочета своих кур, а на моих не надейся, и разводить племя от твоего паршивца в шабровом деле не позволю! – яростно буйствовала Устинья.

– Петуха держит, а кур нарушила – рази это дело! Где это слыхано!

– Да я его, может быть, заместо часов держу, какое твое дело! Без петуха-то проспийшь до бела дня, а он проспять не даст, запоёт, разбудит. Да без кочета и жить-то грех! Ты об этом разумеешь или нет! – невозмутимо убеждала и урезонивала сварливую соседку Анна. Этот-то

спокойный и невозмутимый тон и вывел Устинью из терпенья, и она снова, в который уж раз, начала обзывать Анну разными непристойными словами и прозвищами. Не оставалась в долгу и Анна. Под конец спора она бросила Устинье главный козырь злословия:

– Да у тебя избёнка-то хуже, чем у меня! Не избёнка, а хибарка, как у старухи–келейницы.

– Эт как хибарка!? – не на шутку разгневалась Устинья. – Ведь и твоя-то халупа не дворец! – подковырнула и она соседку.

– Моя-то хоть тоже не большая, а окошек-то впереди три, а у твоей-то хижины всего-навсего два, и они маленькие, как у мыши глаза.

Это сравнение вконец вывело Устинью из терпения. От нахлынувшей на нее злости она была готова Анну живьем съесть.

– А твою-то кельёнку и пичужки-то не любят! А на моей избёнке, видишь, под коньком крыши, косатушки гнездо сляпали и мирно привились. Не стерпела Устинья такого, выбрала время ранним утром, когда Анна отлучилась из дому, набрала комков и злонамеренно отомстила – сшибла ласточкино гнездо.

– Зато моя-то кельёнка тебе ничем не мешает, а вот твоя-то избёнка мне вредит.

– Это чем она тебе помешала? Чай, она не на твоей территории стоит! – удивилась Анна.

– А тем, что каждый вечер она от меня солнышко загораживает, тень от нее до самого моего крыльца доходит, ходу мне не дает! Я вот как-нибудь возьму в руки топор и всю тень от твоей избёнки изрублю! – угрожала Устинья.

– Эх, Устинья, Устинья, а тень от твоей кельёнки мне и вовсе вредит. Каждое утро при восходе солнышка она до самого моего окошка доходит и росе на траве сохнуть не дает! А мне спозаранку надобно куда-нибудь сходить, новости распознать, а по росе пройдёшь – ноги промочишь. А куда с мокрыми-то ногами пойдёшь, зябко, да еще коим грехом простудишься, я и то молчу! Ты мою-то тень перешагнуть можешь, а твою-то никуда не денешь, жди, когда солнышко выглянет, и роса пообсохнет. Так что, Устинья, молчи, зря не вякай! – пространно высказалась перед соседкой Анна.

– Не простудишься! Пожалуй, из-за новостей-то в такую рань пускай лукавый тебя никуда не носит, – злословно, с колким ехидством подковырнула Устинья Анну.

Спор и ругань под конец стал сдабриваться яростными угрожающими выкриками Устиньи в адрес Анны:

– Засужу! В остроге сгною!

– На-ка, выкуси! – выставив в сторону Устиньи кукиш, притопывала ногой Анна, злобно улыбаясь и брызжа слюной от удовольствия.

– Я – делегатка! – козыряла Устинья.

– А мне черт с тобой, что ты делегатка! – бойко отражала Устиньины козыри Анна, – делегатка, а шинкаришь, самогонкой торгуешь! Вот возьму и докажу на тебя, куды следует. В Арзамас съезжу или в Нижний доскочу, а то и в Москву пыхну!

После этой угрозы Анны Устинья умолкла. Знала она за собой изъян: тайно поторговывала она самогонкой, скрытно от людей гнала самогон, поддерживала и «русскую горькую», которую тайком от людских глаз таскала в кошеле из Чернухи из «Центроспирта». Поэтому-то она и побаивалась Анны, как-никак: шабренка может все проделки разузнать и выдать. А за запретную, противозаконную торговлю спиртным, если узнают власти, не поздоровится, накажут. Хотя Устинья и числилась активисткой села и выбрана делегаткой в женотдел, но если раскроются ее проделки, обличат ее в шинкарстве, то тут не спасут ни активность, ни женотдел, ни ее брательник – сторож совета, которым она гордилась и прикрывалась им в нужные моменты, как каменной стеной.

Вообще в селе Устинью Демьянову за ее сварливый нрав недолюбливали, считали ее «дрянь–бабой». Свое немудрящее вдовье хозяйство вела она скрытно, а сама из любопытства к

шабрам через заборы во все двери заглядывала, обидчикам беспощадно мстила. Она в чулане углем на печи делала пометки, чем и кто ее обидел, применяя при этом свою особую, только ей ведомую, азбуку. Если обида была пустяковой, она углем на печи выцарапывала фамилию или прозвище, и против ставила маленькую галочку. Если же обида была значительной, да еще со слезой, ставила большой крестик с отметиной. Такой обидчик берегись! К такому обидчику она неумолима и беспощадна. Тут крику, ругани, обзыванья неприличными словами. Обзовёт не оберёшься. Хватит на всю улицу и на все переулки и закоулки. В такие моменты она трещит, как скромная сковорода на огне и мечется туда–сюда, словно клушка, у которой только что ястреб утащил цыпленка.

В своей печной бухгалтерии Устинья вела и своих должников: кто брал самогонку в долг, кто не возвращал пустую посуду. Вот ее список обидчиков и должников:

1. Шабренка Булалейка – за болтливый язык и петуха
2. Кузьма Оглоблин – за полбутылки самогонки
3. Коля Ершов – за пустую бутылку

У Устиньи была своя заповедь. Вечером, на ночь, самогонку или вино в долг не давать (деньги водиться не будут) и сдачу вечером не сдавать. Но несмотря на эти все заворожки, у нее не особенно цвело хозяйство. В ее хозяйстве во дворе была коза и пять кур с петухом. Для подспорья, ради доходной статьи, она завела козла, для обгула коз, которых к ней приводили содержательницы (этой «вражьей скотинки») келейницы и вдовы. За услугу она брала полтинник. Козёл с приведённой к нему новой козой частенько пырялись. Приняв комическую позу, приподнявшись на дыбы и скосив головы на бок, они непринуждённо и лениво головами обрушивались друг на друга, цокались рогами, словно пробуя их крепость.

В избе у Устиньи всегда пахло вдовьей затхлостью, какими-то кислыми овчинами, одиночеством и прочей отвратительной дрянью. Внутри избы имелись сундук с добром под кроватью, на печи кошка, а на кровати лежа рос и возрастал ее сынок Вася, а откуда он взялся было сказано раньше. В детстве Вася болел «собачьей старостью», был непомерно тощ. Ноги и руки были у него сухие и тонкие, как палочки, лицо морщинистое, как у старушки, тело все было в болячках и волдырях. Мать тогда не против была и избавиться от такого неудачного ребенка. Она обмазывала всего его козьей сметаной и давала облизывать собаке. Завернутого в шоболы, подавала из окошка нищенкам вместо милостинки с приговоркой: «На, прими Христа ради!» Даже хотела посадить его в муравейную кучу, да люди разговорили. В общем, старалась всячески от него избавиться насовсем. Но Вася помирать не помирал, и расти не рос. Только целыми ночами от немоги хныкал, терзая мать.

То ли от того, что его неоднократно облизывала собака, то ли еще из-за чего, только Вася однажды хныкать перестал и тоску нагонять на свою мать тоже перестал, почувствовал облегчение и стал поправляться. На пятилетний его юбилей природа отметила его тем, что он заболел оспой. Все его лицо было покрыто болячками, которые, подживая, стали нестерпимо зудеть. Он в кровь расцарапывал лицо. Во избежание искарабливания лица, руки ему привязывали к туловищу. Лицо у Васки так и осталось все в рывинах – рябое.

Шестилетним малышом Вася залез на берёзу, чтоб полакомиться сочными почками и серёжками, руки поскользнулись, и он комаянулся с берёзы головой о бревно. После чего едва очухался, а мать безразлично проговорила при этом:

– Пускай бы убили до смерти, я бы другого заказала!

В Масленицу этого года катались парни–женихи на лошадях. Вздумали состязаться впергонки. Подвернулся под этот раз Вася, сшибла его лошадь. Грудью подмяла под себя,

слегка встала копытом на щеку. Провалился от этого случая Васька в постели две недели, отудобел. На щеке остался на всю жизнь от копыт шрам. Мать с досады выговорила ему:

– Какой ты у меня, Васяч, неудачный! Настродалась я с тобой. Уж больно ты мне надоел со своими болезнями.

Вообще-то Васька рос всем только для насмешек, измываний над ним, надругательств. На улице ребяташки дали ему прозвище «Бадья», так эта кличка на всю жизнь к нему и прилипла, как репей к овечьему хвосту. Васька был всегда виноватый, и, как говорится, все палки летели в него.

Во время игр на улице ему больше всех попадало. Почти все детские игры кончались тем, что Ваську исколотят или же поднимут на «шалы-балы» (зажатыми двумя палками поднимают вверх). С криком и ревом побежит Васька обычно домой, не добежав до своей избы, он жалобно кричит:

– Мама!

Та, недолго думая, выбегает из избы и лихо бежит на расправу с тем, кто обидел Васяту. Устинья даже пожаловалась в ВИК председателю Небоське:

– Мово Васягу на улице гавша заколотила, хоть на улицу ему не появляйся!

– Надо составить акт, – пообещал о защите Небоська. Так и в тот раз, когда Панька всадил Ваське в щеку стрелу, быть бы от его матери расправе, но Васька об этом случае умолчал.

Жители села. Раздел семьи Федотовых

Не совсем сладко проводят свой медовый месяц молодожены в русском крестьянском быту. Особенно в тех семьях, у которых одна изба: всюду чувствуется неудобство и стеснительность. Молодые обычно располагаются со своей постелью на кутнике или же подальше от посторонних глаз, на полатах. Да вот беда: лежи и не шелохайся. Чуть повернулись – скрипу не оберёшься. Еще дело усугублялось и тем, что старики, занимающие место для спанья на печи, грея бока и прокаливая свои простуженные и натруженные ноги на голых разогретых кирпичках, мало когда спали – все дремали. Уши, само собой разумеется, не затыкали. Малейший шорох их настораживал, поэтому-то и приходилось молодым вынужденно говеть: целоваться и миловаться тайно, в пол-азарта, в полунаслаждение. Млели втихомолку во избежание предательского скрипа, изнывая втиходвижку. Но тем не менее молодежь женилась и производила потомство.

Не проходило и году – у молодой пары появлялся ребенок. В избной тесноте появлялась и зыбка, подвешенная к потолку на оцепе или же на пружине. Вновь появившегося на свет человека, наряду с молоком из материнской тощей груди, вскоре начинают приваживать и побочной пищей: подкармливают коровьим молоком из коровьего же рога через приделанный к нему коровий же сосок, отрезанный от вымени при заколе коровы. Тут и грязь, и мухи. А вскорости начинают ребенка приучать и к грубой пище: нажёванным хлебом через марлю.

Зыбка, согнутая из лубка, на дне – подстилка из соломы, сверху прикрытая тряпьем. Промокшая и обкаканная пелёнка, мухи, клопы, тараканы. Вот обстановка вступившего в жизнь человека в крестьянской действительности. Если ребенок родился дома – он счастливее, а то бывает рождение и в поле, на жнитве. Тут уж обстановка куда хуже домашней...

Частенько во время сенокоса и жнивы ребенка оставляли на целый день на попечение малолетних нянек, за которыми за самими-то нужен присмотр. Эти-то няньки, убаюкав ребенка в зыбке, выбегали на улицу играть, забывали о ребенке, а он уж давно проснулся и орет во всю своим голосисто-пронзительным криком. Ребёнок проснулся или из-за того, что его укусила злодейка муха, нахально пробравшись под положек, накрывающий зыбку, или же от того, что он весь обмочился и обваракался, или от того, что захотел поесть, или же от того, что летняя жара возбудила в ребенке жажду. Он нестерпимо захотел пить, но няньки, наигравшись, совсем отвлеклись от своей обязанности по воспитанию такого же почти как они сами ребенка и не слышат истошного с взвизгиванием крика.

Ребенок наплакивался до того, что обессиливал и изнемогал. Спыхватившиеся няньки думают, что он умирает, но догадавшись напоить через рожок, как ребенок снова оживал, начал дрыгаться и позволял себе даже улыбаться.

Часто с грудными детьми происходили и несчастные случаи. Он или по своей глупости засунет себе в рот какую-нибудь вещицу, или же по неопытности нянька, кормя сверх нормы, засунет в рот ребенку грубоватой пищи. Ребенок начинает давиться, а нянька, испугавшись, деловито начинает колотить его по спине, приговаривая: «Выплюнь, выплюнь!».

Обрыв оцепы или веревки с пружиной, на которой висит зыбка, часто были причиной изрядных испугов и ушибов ребенка, от чего в результате этого были всевозможные калеки: кривые, косые, горбатые, напуганные дурачки. Часто были и смертельные исходы. От поноса или же от других детских болезней частенько, особенно по летам, то и дело относились маленькие гробики на кладбище.

Если у матери умирал ее единственный ребенок, то бабы, сожалеючи, хмакали. Если же у матери оставалось еще двое–трое «ваньков», то бабы ей завидовали и высказывали свою нескрываемую радость: «Какая Марья-то все же счастливая, схоронила ребенка-то, а то ее бы заволокли, у нее их вон какая прорва!»

Все это и зарождало у молодых людей желание занять свою избёнку и отделиться от многолюдной семьи. Из-за этого и стало село расширяться во все стороны.

В многолюдной семье Федотовых тоже неудобство для молодых есть. Ванька, наточив колёсиков на шестнадцать каталок, вылез из-за станка, с устатку сладко потянулся, блаженно вытянув руки к потолку. Ему вздумалось для разнообразия поиграть, позабавляться с молодой женой, из токарни он поспешно пошёл в избу. Его Марья сидела на передней лавке, пряла. Она тоже была не против полюбозничать.

Перехватив улыбающийся взгляд входящего мужа, она ответно ласково, играючи, взглянула на него, а ведь нет лучшей игры, чем игра впереглядюшки влюблённых. Ванька, не постыдившись и не вытерпев, подошёл к жене вплотную и стал с ней заигрывать, намекая на уединенность, озорно теребя куделю из гребня.

– А ты дай мне допрясть-то! – понимающе и взволнованно унимала Марья мужа. – Вот допряду эту мочку, и поиграем.

– Ну и дела! – с упреком заметил отец, подковающий кочедыком лапоть и наблюдавший за поведением молодых и укоряя сына. – Надо бы работать, он с молодой бабой валандается, а работа ему и на ум нейдет. Хоть бы ночью миловались, не днем, да вдобавок пост сейчас, а они то и дело играют, и не надоест им! Кесь пора и насытиться! Пра, ешлитвою мать, – с дружелюбной улыбкой и тряся жиденькой бородой, отшутился отец.

– А ты, отец, не унимай их, чай, и мы были молодыми-то, все бывало! – заступнически вступила в Иванов разговор Дарья и сочувственно к снохе:

– Пойди-ка Марья, выскреби скребком пол в сенях, да почище, чтоб ни одной шишки не осталось.

Ванька предчувственно, догадливо вышел из избы. Обрадованная таким приказанием Марья встала с донца гребня, сладко потянулась, разнимая замлевшие в сидении ноги. Ноги ее были обуты в шерстяные чулки. Перед выходом в сени она, присев на сундук, стала обуваться в лапти (в будень валенки обувать не полагается). Разравнивая на ноге суверть портянки, она в забытии бесстыдно раскорячилась. Заметя это, свекор не стерпел, чтоб с усмешкой не заметить: «Закрой сковорешницу-то, а то воробей влетит!» – Сладострастно хихикая, разразился смехом Иван. Участливо усмехнулась и Дарья.

Выйдя в сени и вооружившись скребком, Марья, наклонясь, старательно принялась скрести пол в сенях. Он был изрядно покрыт нашлёпанными ногами грязными примёрзшими шмотками. К Марье сзади подкрался Ванька, он, играючи, обхватил ее руками. Она от неожиданности испугалась: «Ой! Как ты меня испугал! Я инда вздрогнула, и все во мне передернуло», – крикливо упрекнула она его. «А ты потише кричи. Ну и голос у тебя крикливый, словно, как в лесу, – дружелюбно заметил он ей. – Ты так-то можешь всех взбулгачить», – с досадой выговорил Ванька, страстно желая утащить ее в укромное место двора. Натешившись, Ванька снова в токарню и снова за станок, точить колеса и оси.

Наступила весна, пришла Пасха – самый большой праздник в году, пора весеннего веселья. Лежа в постели, Марья украдущим шепотом наговаривала на ухо мужу:

– У всех разговелось, а у нас ни молока, ни мяса... С такой пищи ноги не потащишь.

А во взаимной перебранке со свекровью она, натерпевшись и не сдержавшись, напрямик бухнула:

– У вас с такой пищи с голоду сдохнешь! – Дарья сдержанно протерпела, «в гору» со снохой не полезла. Только высказала ей: «Скажи спасибо, что пригрели тебя». А своему мужу, Ивану, выговорила: «И правда, отец, мы без коровы-то совсем заголодовались. Ты толкнись к Лабину, попроси денег на корову-то у Василия Григорьевича. Кстати, вон по дороге, кажется, он идет.

Иван полушубок в руки и поспешно выскочил на улицу. Перехватив путь Лабину, Иван учтиво поздоровался с ним.

– Василий Григорыч! Погоди-ка на минутку! У меня каталок-то полон двор, робяты каждый день по шестнадцать штук из токарни выкидывают. Так ты их, пожалуйста, забери, а то класть стало некуда. А мне в счет их деньжонок на корову дай.

– Сколько тебе, рублей двадцать пять, что ли?

– Нет уж, давай все тридцать. Семья-то у меня без коровы-то совсем заголодовалась. С плохой-то пищи, говорят, скоро ног не потащишь, а старшим-то, женатым сыновьям, не только за станком, а и по ночам с бабами работать приходится, – добродушно улыбаясь, шутил Иван.

– Я сочувствую, только у меня с собой-то денег-то нет, – с сожалением сказал Лабин. – Хотя, погоди: я вот сейчас к Савельеву Василию зайду, денег перезайму и тебе на дом принесу.

Перезаняв тридцать рублей у Василия Ефимовича, Лабин отнёс деньги Федотову прямо на дом. На другой день во дворе Федотовых снова появилась корова – купили.

Как-то ночью, идя с гулянья, подкрался, припал ухом к замочной дыре Мишка Крестьянинов, со злонамеренным любопытством выслушал задушевные секреты у молодой пары. Снедаемый мстью за обиду от Ваньки (на Святках), решил отомстить. Мишка мало того, что разболтал парням о подслушанном секрете, да еще прихвастнул и с ехидным злорадством, хвляясь, разносил по селу:

– Иду я поздней ночью с гулянья, слышу где-то гутарят. Я к Федотовой мазанке подкрался, прильнул ухом, а внутри ее слышен приглушённый говорок, а о чем разговаривают никак не разберу. Я ухо примкнул к дыре, куда большой ключ втыкают, прислушался и все понял, все докумекал. Народ, бабы, новость подхватили и пошло по селу, поехало! По всему селу расползся слухок.

Послала Дарья Марью вылить из поганого ведра грязные помои, а она по простоте своей или по незнанию выбухнула эту грязь прямо на дорогу. Случайно подвернувшегося тут Николая Смирнова всего обдало брызгами. Наблюдавшая за снохой Дарья пожурела ее за это. А вечером послала Дарья сноху за коровой к стаду – опять неувязка. По неопытности вместо своей пригнала Марья домой чужую корову. Дарья, стоя у ворот, встретила ее с ехидной издевательской улыбкой:

– Ну, пригнала! Вот у нас и две коровы стало! Погляди, наша-то сама домой пришла и давно в хлеве стоит.

Краска стыда заревом полыхнула в лицо растерявшейся Марье. Затосковала Марья от нахлынувшей на нее кручины. Она вышла в город, повстречала там соседку Савельеву Любовь, решила поделиться с ней своей печалью, пожаловаться на свое житье–бытье.

– Ну и свекровушку бог мне дал! За каждым моим шагом следит. У нее и сзади-то глаза. Прямо поедом меня съела! – жаловалась Марья. – Да еще сношельница к свекрови подьюльнулась и, видимо, неспроста. И все на меня, и все на меня поливают. А каково мне все это переживать-то, а? А я все терплю, мне бы, дуре, надо осердиться, а я, как простофиля, не докумекиваю, все стерплю, а терпенье-то выносливо!

– А вон Анна Крестьянинова своей снохой не нахвалится, говорит, всем взяла, работяща, баслива и умна, – высказала свое суждение Любовь.

– Зато свекор об ней отзывается не лестно. У нее, говорит, больно кость широка, ее содержать расчёту нет, съедает помногу и материи на ее тело много надо, – чтоб несколько смягчить

свое горе, высказалась о Крестьяниновой снохе Марья. – Да еще Мишка их, курносый дьявол, со своим языком сунулся, наплёл на меня разной небылицы. Ну, свекровушка-то и вовсе готова меня с вольного света свести. А я ни душой, ни телом ни в чем не виновата, а от колючей насмешки больнее, чем от удара!

– А ты бы Мишке-то выговорила, да постыдила его как следует, – предложила Любовь Марье.

– Я и так ему все высказала. Говорю ему, вот за то, что ты наболтал на меня, какую корысть получил? А он только, как изверг, зубоскалит и поводит своим носом-пяточком, и хоть плюй ему в нахальные буркалы. Ну, тетя, я тебе только одной откроюсь: жизни я своей не рада!

Марью крикнули чай пить. За столом сидела вся семья, к столу присела и Марья. Чай пили с сахаром, подбеливали топленным молоком, черпая его из деревянной чашки ложкой. Дарья, сидя на табуретке, блаженно схлёбывая чай с блюдечка, топыря глаза к потолку, вела непринуждённый разговор на хозяйственную тему:

– У нас новокупленная корова что-то уж больно доит молока-то помалу, прямо, вукороть. Беречь надо его и есть-то надо с убережью. Зря-то не расхлебашься, только рази робёнку. Он какой-то золотушечный, ему нельзя ни картошку, ни конфетку, да еще видно молочные зубы выпадают.

И как бы между прочим, Дарья обратилась к мужу:

– Хозяин, а знаешь, что?

– Что?

– А корова-то у нас, знать, к быку просится. То-то я все наблюдаю, у ней хвост на бок.

– Вот и дело-то. Если бы сейчас обошлась, то как раз к Рождеству отелилась бы.

– Неплохо бы! – согласился с Дарьей Иван.

Выпив две чашки сладкого беленого чая, Марья повеселела, на ее лице появилась сдержанная улыбка, а когда ее Ванька, встав из-за стола, подошёл ближе к самовару, задрав рубаху, так что оголилось его брюхо выше пупка, стал подолом рубахи чистить горячий самовар, Марья не стерпела, с усмешкой шутливо ему заметила:

– Гляди, брюхо-то обожжёшь и хозяйство ошпаришь!

Все сидящие за столом весело рассмеялись. А отец счел нужным добавить:

– Какой ты, Ваньк, все же не сообразительный, так-то ты и в самом деле без струменту остаться можешь. Пра! – трясаясь от смеха, добавил он.

Ванька недружелюбно посмотрел в сторону жены, та поняла, что позволила себе сказать не дело, снова потупела и утихла. Тяжело вздохнув, вышла на двор.

В сумерки Марье вздумалось навестить родителей. Она нерешительно подошла к свекрови, едва слышно спросилась:

– Матушка, я не надолго схожу к нашим?

– Сходи, разгуляйся, – разрешила Дарья.

Ушла Марья к своим, рассказала кое-что сочувствующей матери, да так и осталась в родном доме. К Федотовым не вернулась, прижилась у матери. Встретившая на улице ее подруга спросила ее:

– Надолго ли ушла?

Она без запинки ответила:

– Теперь меня к ним калачом не заманишь!

– А жалко тебе Ваньку-то?

– Я и сама-то не знаю, не пойму. Сначала-то вроде было жалко, а как раздумаюсь, да вспомню, что было, аж сердце жмет так, будто становится и не жаль.

– А може, вернешься? Говорят, вторая-то молодость злее?

– Не знаю, еще не испробовала такой прелести, – спокойно ответила Марья своей подруге-собеседнице.

Прожила Марья у матери с неделю. Как-то пошла на озеро за водой, наклонилась на мостках, чтоб зачерпнуть ведром воды, а внутри, где-то в боку, что-то так трепехнулось, что Марья от испуга обомлела и в недоумении так и присела. Прошептав молитву, вошла в себя и догадалась: в брюхе ворызнулся ребенок. Живое существо, толкнувшее Марью изнутри ее в бок, напомнило ей, что оно живет независимо от нее, растёт, придёт время, в виде человека появится на свет.

Выждав, когда вечер совсем погасил зыбкий сумрачный свет, Марья пришла в дом. Маскируясь тягучей темнотой, она в нерешительности робко присела на кутник. Дарья, поняв, что сноха вернулась, проговорила:

– Что же не раздеваешься, ай на побывку пришла? Ты уж поживи у нас, – улыбаясь, пошутила она.

Марья неторопко побрела к мазанке. В ее голове роились мысли, как она встретится с мужем и что будет говорить. Марья в нерешительности отворила дверь мазанки, там никого не было, постель пустовала. Она торопливо разделась и юркнула под одеяло. Вскоре откуда-то пришёл и Ванька.

– Ну, явилась! – коротко проговорил он и в нерешительности подсел на край кровати.

– Боюсь тебе сказать, а умолчать нельзя, – взволнованно и тяжело дыша, продолжала она свой бессвязный разговор, подбирая нужные слова. Но вместо слов она судорожно схватила его руку и, приложив ее к своему животу, выдохнула:

– Чуешь! Нынче только почувствовала, как он впервой ногой дрыгнул!

Ванька своей шершавой ладонью под теплой округлой кожей живота жены ощутил трепещущую толкотню живого невидимого существа. В этот момент в сознании Ваньки ворохнулась мысль, что там ворочается ребенок, которому отцом является он, Ванька. Он трепетно припал к жене, горячо и нежно поцеловал ее. Забился Ванька головой о теплую, пахнущую сладковатым бабьим потом подмышку, перинюхался, пригрелся и вскоре уснул.

Хотя с мужем Марья и примирилась, но в семье чувствовала себя все также неловко и придавлено. Свекровь отношение к снохе не изменила и все так же с нее из-за малостей взыскивала. И деверь Санька с своим болтливым языком не унимался, частенько дело не в дело, высказывал свои насмешки с подковырками, хотя иногда и осаждал его отец:

– Ты свой поганый язык прикуси, а то я тебе его обрежу! – Санька после таких слов затихал, а дня через три все забывал и начинал снова.

Одно у Марьи утешенье – выйдя в огород, она ждет, когда там появится шабрёнка Савельева Любовь. Она с ней и побеседует, по-бабьи поговорит, отведёт свою наболевшую душу.

– Ну как, молодая, дела-то? Опять пришла, – сочувственно завела разговор Любовь.

– Ничего! Я бы не вернулась, да внутри почувствовала, там стало часто дрыгаться. Перед уходом я зафорсила, а теперь опомнилась, приходится стерпливать. Хотя я ни в чем не виновата была.

– А жалко тебе мужа было, когда уходила? – спросила Любовь.

– И жалко, и нет, ведь он, кроме каталок, ни лаптей сплести не может, ни кола обтесать не может, – расхаивая способности мужа, высказалась Марья.

– Конечно, он звезд с неба не хватает! – поддержала ее и Любовь.

– Это было бы полбеда, – продолжала Марья, – да все дело в свекрови, ведь она меня во всем упрекает и контролирует. Послала она меня одну в поле картошку полоть, наложила она мне в кошель обедку, так я за обедом побоялась все-то съесть, постеснялась, как бы обжорой не назвала. У нее на это ума хватит. Да и брюхо-то у меня и так распирает.

– Уж больно дивно получается, свою же сноху и так возненавидела, – пожалела Марью Любовь.

Знатный в селе труженик, семьянин Иван Федотов, решил отделить сына Михаила. В такой большой семье всем не ужиться. Летом, после весеннего сева, занялся постройкой дома для Михаила. Место подвернулось поблизости. Увезли на катках свой дом на новое место Комаровы. Вот тут, на углу, и решил Иван поселить сына Михаила.

Желая сына отстроить как можно скорее, Иван вставал утром спозаранку, пока остальные еще спят, брал в руки топор и отправлялся на стройку. Потяпывал топором, прилаживал бревна.

– Бог помочь! – поприветствовал Ивана мимо его проходивший Семион Селиванов. – А ты отдохни, уж больно ты круто взялся. Давай посидим, закурим.

– Бог спасет! – весело отозвался Иван, – только я сыздетства не курю, не сосу, рази когда был ребенком, сосал, и то не помню, – отшутился Иван. – Так что не в коня корм тратить, а вот насчёт отдохнуть – это я не против, я с солнышком вышел сюда.

– То и есть-то! – подхватил слова Семион. – Ты это бревно как хочешь положить-то? – поинтересовался у Ивана Семион.

– Вот сюда комлем, – деловито ответил Иван.

– Ах, да, ну да, оно так и гласит. Ну, тогда так и валяй, вваливай, – порекомендовал ему Семион. – С детьми-то так, одного не успеешь отстроить, как другой подоспеет, с ними только растуривайся.

– Вот именно.

– Ну, пока, я пошёл.

– Всего хорошего, Семион Панфилович!

После кратковременного отдыха Иван один не долго провозился на стройке. Ему вздумалось позавтракать, да и ребят пора будить.

– А я уж давно устряпалась! – встретила его Дарья, подавая ему стопку блинов из чулана. Наевшись, Иван пошёл будить.

– Мишк, Мишк, вставай, очнись! Эх, вот привалило! Спит, как убитый, тебе ли бают, проснись! Рази не для тебя строю! – последний довод пружиной поднял Михаила. Выбравшись из-под теплого одеяла и покинув припахнувшее сладковатым бабьим потом, разомлевшее тело жены, он, кряхтя, встал обуваться в лапти. Иван оторвал от сна и Ваньку, а Панька, Сергунька и Санька как холостяки остались досыпать. Они поднимутся с постелей попозднее и займут свое рабочее место в токарне. После завтрака на стройке работа пошла подружней и поподатней. Тяжёлые бревна подтаскивали веревкой под «Дубинушку». «Дубинушку» запевал сам отец, и под весёлое озорное уханье все трое, по-бычиному упираясь, волокли бревна к месту, укладывали их в сруб.

– Вот, робяты, как под «Дубинушку»-то легко и податно работать-то, а!? – весело усмехался отец, оскаливая свой редкозубый рот и трясая своей редковолосой и отвисшей, как у козы, бородой. Сыновья, подхваляемые отцом, задорно работали, подражая отцу, азартно смеялись. Все трое работали упористо и дружно. Все трое народ крепкий и хлебный, сила есть. Все трое некурящие, отдыхали мало. Рубя сруб, орудуя топорами, вырубая чашки в бревнах, сыновья вели по одному углу, отец вел два угла.

За ужином отец мало ел от усталости и дремоты, клевал носом.

– Отец, что не ешь? – заметила ему Дарья.

– Я не особо хочу, утром блинов наелся. Я ведь их съел семь блинов всухомятку, да восемь с молоком.

– Эт что же выходит, у тебя в брюхе-то пятнадцать блинов уместилось?

– Выходит, так! И вроде бы как не сыт, ни голоден! – усмехнувшись, добавил он. – Это бы ничего, да утром-то один таскавши бревна, видно, надорвался: животом страдаю, должно быть, от натуги сорвал все в себе. В брюхе, как ножами режет, урчит и понос на девятый венец открылся под вечер. Стало невтерпеж, гашник из рук не выпускаю, замучился, – жаловался он Дарье. В животе у него громко урчало, словно лихая тройка резво разъезжалась по мосту.

– Здоровье всего дороже! – поддержала его Дарья.

– А нам, в крестьянстве, хворать неколи, – заключил свою жалобу Иван и, кряхтя, побрел к печи с тем расчётом, чтоб завалиться на ее разогретую стлань и брюхом припасть к горячим кирпичам, чтоб утихомирить ложные позывы. А Михаил и Ванька, изрядно уставшие за день, едва доплелись до дому, но аппетит у них разыгрался волчий. За ужином они ухобачивали за обе щеки, только за ушами трещало. Припасённое на столе они подмели под метелку. Наверсытку Ванька, взяв в руки пирог величиной с лапоть, начинённый мятой картошкой, примечроно приложив его к животу, не обращаясь ни к кому, шутейно спросил:

– Как по-вашему, уместится он у меня в брюхе, ай нет?

Дарья, видя, что семья разъелась не на шутку и на сыновей напал непомерный жрун, чувствуя, что в чулане хлеб на исходе, а утром придётся плотников кормить завтраком, решила пойти к Крестьяниновым, перезанять хлеба.

Вешая каравай на ухвате (за отсутствием безмена), Анна выговорила Дарье:

– Смотри, и ты принеси в случае хлеб-то тоже без картошки!

Придя домой, Дарья, укоряя, ругала себя:

– Дура я или нет: взбрело же мне в голову пойти, к кому хлеба займы попросить. Пошла и три раза испокаялась! Хлеб дают займы, и то с выговором, как будто мы не люди!

– Ну, так не ходила бы, – заметил ей с печи Иван.

На утро следующего дня мужики, как обычно, занялись стройкой, а Марья взялась за стирку белья. Набрав полную корзинку мокрого белья, она пошла на озеро полоскать. В правой руке корзинка, в левой – валец. Избоясь от груза, она с одолевавшей ее отдышкой, пересиливая себя от рези в животе, тихо пробралась на средину колыхающегося под ней плота мостков. Подобрал подол сарафана и зажав его между колен, она с натужностью принялась полоскать рубахи, штаны и кальсоны, шлепая по ним вальком и выбивая из них излишнюю грязь. Возвратясь с озера к дому, Марья сполоснутое белье развесила на шест, прибитый к углам избы под самыми окнами.

– Бедная, еле ходит, видно, гороху много съела. Видимо, последние дни ходит. И что мучают бабу, – не то жалея, не то так просто заметил про себя сосед Василий, наблюдая, как пересиливается, натруждаясь, Мария.

В полдень мужики пришли со стройки обедать. Усаживаясь на лавке, отец продолжал, видимо, начатый еще там, на стройке, разговор, восхваляя Михаила с чувством превосходства его и в мастерстве, и в силе перед Ванькой:

– Нет, Ваньк, ты спрыть Мишки, видать, мало каши ел! – задорно смеясь, подзадоривая, хохотал он.

– Да я особенно-то и не хваюсь! – отзывался Ванька.

– А ты, отец, не подтравляй и их не разъерехонивай! – строго прикрикнула Дарья, – и вообще, скорее обедайте и живей выкатывайтесь из избы-то!

– А что? – удивленно опешил Иван.

– Так ничего! Марья что-то занемогла, – намекающее уведомила семью.

– А где она?

– Я ее в баню отвела.

Поняв, в чем дело, Иван затормошился, заволновался. Он поспешно вылез из-за стола, бесцельно хлопотливо затолмошился по избе.

– Ах, ты, батюшки, надо бы сватьёв известить! Я, пожалуй, к ним сбегая, – разохотился Иван, не находя себе места, топтался по полу.

– Ладно тебе ввязываться-то в наше бабье дело-то, – укротила его Дарья.

Не поев как следует, мужики вышли из-за стола. Вылезая, перекрестились на образа. Отец с Михаилом зашагали на стройку, а Ванька задержался у дома. Он в раздумье о жене притупленным взором смотрел на развешенное под окнами ею белье, среди прочих вещей он глазами отыскал висевшую Марьину нательную рубашку, рядом с ней он увидел трепыхающиеся на ветру свои подштанники. Надуваясь ветром, они рогатились и снова, отвиснув, опадали. Ванька тихо побрел на стройку.

Тем временем, Санька Федотов с Ванькой Савельевым, подбирая яблоки, опавшие с яблонь, попытались было заглянуть в баню, их одолевало детское любопытство, но Дарья их шельгнула, надевая угрозами и руганью.

– Ах, вы, баловники, эт вы куда забрались! Все яблоки обили, по целым за пазухам набили, весь сад ополовинили. Самовольники, я вот вам сейчас задам, крапивой жопы напорю! Вы у меня будете знать, как по огородам лазить! Ах, вы, дуй вас гора! Мошенники, дьяволята! – крича во все задворки, не унималась Дарья. – Держи их, держи! – ни к кому не обращаясь, стараясь подальше отогнать их, орала она. А Санька с Ванькой пыхнули, только их и видели.

Роды, по деревенскому обычаю, происходили в бане. Бабкой-повитухой была сама свекровь, Дарья. Приняв голосисто кричавшего мальчика, она все устроила, что полагается и требуется в таком случае. После всех родовых процедур Дарья намыла роженицу и уложила ее на полок отдыхать, подложив ей под голову подушку.

Ребенок рос и развивался. Он усилил тесноту в доме, ускорил подготовку к разделу семьи, заставил ускоренными темпами отделяние дома для Михаила. На достройку ринулась вся семья: отец, Михаил, Ванька, Панька, Сергунька и даже малолеток Санька помогал по своей силе и возможности – прямил гвозди, подавал плотникам нужную доску.

– Санька! А ну-ка, подай сюда мне вон этот обресток доски, – попросил его отец сверху. Санька со всем детским услужливым рвением бросился, отыскал ту дощечку и угодливо подал ее отцу. Подмывало Саньку какое-то радостное веселье, хотелось ему, чтоб поскорее отделился Михаил, и он, Санька, будет побегивать к брату на ночлег – для охоты.

То и дело слышался распорядительный голос отца. То он давал деловые указания сыновьям, как лучше приладить ту или иную слегу, жердь к стропилам, доску с фронтоны. То раздраженно покрикивал, чтоб они оплошно не зазевывались и нечаянно не зашибли друг друга.

– Ты, Сергунька, только вертишься, как бельмо на глазу. Не столько помогаешь, сколько мешаешься под ногами. Тово гляди с тобой беды наживёшь! – обрушился отец на вяловатого в движениях, хилого, долговязого Сергуньку. Тот смущенно и виновато глядел в глаза отца, стараясь понять, за что же так незаслуженно упрекает его отец, ведь он, как и все, всем своим старанием желает, чтоб дом для Михаила отделать поскорее.

К вечеру этого дня отец, лазая по стропилам, так намучился и устал, что еле добрел до дому. Он, не разувшись, брякнулся на кутник, стал жаловаться Дарье:

– Эх, я нынче и устал, едва доработался до вечера. Мало ноги наломал, лазая по обрешётке стропил, да еще вдобавок всю грудь заложило, дыхнуть больно, и руки болят, пальцы все в заусенцах! Это бы еще ничего, да вдобавок к самому вечеру голова разболелась! – насчитывал свои боли он.

– А ты выдь на улицу, и всю боль из головы ветром выдует! – деловито порекомендовала ему Дарья.

– Эх, у меня нынче тоже голова разболелась, – сунулся с языком Санька.

– А тебе делать нечего, залезь на печь, голова не задница, завяжи и лежи! – усмешливо заметила ему мать.

Отец разразился таким задорным смехом, что не в силах воздержаться, смеялась вся семья.

После жнитвы, под самую осень, настал день раздела многолюдной федотовой семьи и делёжки имущества, находящегося в хозяйстве. На дележ собралась в избе вся семья, как на некий праздник. Сам хозяин Иван, усевшись на председательском месте, на лавке под образами, пустив растроганную слезу, начал так:

– Ну, Мишка, отделяйся, опосля не кайся! – едва сдерживая себя, чтоб не разрыдаться, гаркнул он. – Коль назвался груздем – полезай в кузов! – многозначительно, загадочно и с намёками продолжал он. – Впрягайся в хозяйство, ты теперь сам домохозяином будешь! Хватит, пожил за отцовою-то спиной. Я вот погляжу, что от вас тронется. Или спать без просыпу будете, или с бабами валандаться по целому уповоду будете! Ешлитвою мать-то! – с самодовольным хихиканьем в смехе трясся он. – Ну, ладно, ничего, это так, к слову, чай, все люди грешные. И мы молодые-то были, а если бы этого не было, и нас бы не было. Бывало, было и так, при разделе иной семьи имущества, кроме общей избы, ничего не оказывалось, и вместо надела отец отделявшемуся сыну давал жену, сковородник вместо подошка в руки, и провожал из дома. Сын уходил и говорил: «Спасибо, тятя, на наделе!» А я, Мишк, тебе даю: дом, хлеба! Наделяю тебя как полагается по едокам, картошку разделим по всем правилам, когда выроем ее, кое-что из посуды и инвентаря, квашню, чашки, ложки. Вот, пожалуй, и все. Живите, добра наживайте! – напутствовал отец Михаила. Его деловую и назидательную речь слушала вся семья внимательно, не перебивая, потому что эта речь отца касалась не только Михаила, но и остальных сыновей.

Ванька, не выдержав, сдержанно и боязливо, чтоб не разгневить, выговорил отцу:

– А ты зачем, тятк, Мишке сверх всего этого самовар-то посулил?

– А ты перве узнай, а там уж и бай! – ошетинившись, обрушился на него отец. – Ты отколь знаешь, что я посулил? Вроде я не знаю, что нам с семьёй без самовара-то оставаться, как без коровы. Вот выдумщик какой нашёлся! – наседа на Ваньку, ругая его, ерепенился отец. – Пусть сами наживают. Поживут с годик, можа, и самовар приобретут, – остывая, закончил свою речь отец.

Мать Дарья от себя тоже давала наказ отделявшемуся сыну Михаилу и снохе, да и вообще всем, которым предстоит отделиться в будущем.

– Вам, бабам, особый мой наказ и поученье: чтобы в доме хлеб не переводился, пустую квашню в сени не выносите, пока хлебы в печи сидят. Это первая моя заповедь. А вторая: нас не забывайте, почаще навещайте к нам, и мы вас будем навещать, с шабрами в миру живите, потому что соседи-шабры ближе всякой родни, с людьми будьте вежливыми, старших уважайте, к знатым людям села относитесь с почтеньем и покорностью.

После раздела крупного инвентаря начали делёжку мелочи: ведер, коромыслов, ухватов, кочерег, серпов, из-за чего распорились и чуть не подрались.

Наступил день проводов Михаила с семьёй и наделом в новый дом, на новое местожительство. Вся семья собралась в избе в торжественных позах все расселись по лавкам. Сам хозяин, отец, занял место перед столом на табурете. Поговорили, побеседовали, еще раз словами понапутствовали Михаилу с Анной.

– Ну, вставайте, – скомандовал отец. – Помолимся, да и с Богом!

Все торжественно и деловито помолились.

– Ну, пошли! – приказал отец, едва сдерживая просившиеся из глаз слезы.

Провожая сына из избы (старый скворец молодого птенца из скворешницы), впереди пошёл сам Иван, за ним с большим караваем и с солоницей в руках двинулся Михаил, за ним с ребенком на руках следовала Анна, за ней шествовала Дарья. Остальная семья шла сзади. При выходе из дома все остановились у окна.

– Ну, ступайте! – захлёбываясь от горечи в горле, едва проговорил отец и рухнул на зава-
лину, затрясся в рыдании. Михаил, не смея смахнуть с глаз слезы (да и руки были заняты),
не оборачиваясь, пошёл от избы, в которой он родился, возрел и возмужал. Его жена
Анна, едва сдерживая рыдания, со слезами на глазах с благодарностью выкрикнув «Батюшке и
матушке спасибо на неделе!», степенно и покорно зашагала за Михаилом.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.